

---

---

Владимир КАНТОР

# ПОХОРОНЫ ДЕДА АНТОНА

## Новелла

Дед умер в шестьдесят семь лет. Мне он казался очень старым. Дед Антон приезжал иногда в нашу профессорскую квартиру навестить дочь и внука. Ходил, опираясь на рукоятку трости, если так можно назвать самодельную сучковатую палку с рукояткой. Трость он сделал сам из сломанной ветки лесной осины. Иногда останавливался, доставал из бокового верхнего кармана полувоенного кителя трубочку, в которой он хранил мелкие таблетки нитроглицерина, клал одну под язык. Стоял минуты три, потом шел дальше, поглядывая, не найдется ли что-то выброшенное, что пригодится для его мастерской. В его сарае у него были верстак, топор, молоток, пила, рубанок, ящик с отделениями для гвоздей разных размеров. Шел 1965 год. Хотя дед был старым, он продолжал игриво поглядывать на молодых женщин с детьми, гулявшими во дворе. Особенно ему нравились молодые жены наших профессорских сынков. Как-то одна милая блондинка в голубом пальтишке, с которой я всегда здоровался, улыбулась мне, а дед приосанился, даже на палку перестал опираться и с завистью сказал: «Ишь, какие девушки на тебя внимание обращают». Мне было лет тринадцать, а ей под тридцать, и про амур мне даже в голову не приходило.

Впрочем, и дед Антон больше хорохорился. Мужчина всегда молодеет, когда видит хорошенькую женщину.

Лежали там и струганные им доски, светлые после снятой с них стружки. Он мастерила для меня скворечники и другие поделки, которые требовала с мальчика классная руководительница. В этом смысле дед был надежный помощник. Но порой прямо дикий и нервный. Когда он злился, то хватал свой солдатский ремень и пытался перетянуть то меня, то моих двоюродных братьев — Сашку и Тошку — этим ремнем по заднице. Юркий Тошка как-то даже выскочил из окна в палисадник, благо комната находилась на первом этаже. Меня, как старшего внука, сына любимой ученой дочери, бабушка Настя прикрывала своим телом, вертясь перед дедовским ремнем, подставляя свою нижнюю часть. «Ну ты, потатчица! Убери свою хлебницу! Дай я его достану!» Но бабушка все равно продолжала потакать и прикрывать мальчика собой. «Это же Танин сын!». Дед мою маму тоже любил, она унаследовала его страсть к биологии: ведь он разводил разные сорта, скрещивал их. Лысенко тогда писал о невозможности скрещивания, ибо получаются в результате мутанты. Но у деда все получалось классно.

Коммуналка, в которой жила мама с родителями, сестрой и братом, находилась на первом этаже двухэтажного домика, в середине квартиры — выгребная яма для

---

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, профессор философского факультета НИУ-ВШЭ. По версии журнала «Le Nouvel Observateur» (2005) — один из 25 крупнейших мыслителей современности.

большой нужды, бабушка Настя меня всегда туда сопровождала и держала за руку, чтобы я не рухнул вниз. Туалетной бумаги не было, была газета, которую бабушка долго мяла, прежде, чем приняться за вытирание моей задницы. Раз в месяц приезжала машина с большой гофрированной трубой, которую мальчишки называли «говно-воз», трубу запускали в выгребную яму, и, причмокивая, машина отсасывала дерьмо, пока не заполнялся контейнер.

Папа в подражание Данте написал «Таниаду» в стиле «Vita nova», стихи, перемежаемые прозой, история их с мамой любви. В том числе и о маминном жилье. Мама жила в Лихоборах, неподалеку от насыпи Окружной железной дороги. Название говорящее. Папа писал: «Кроме Таниной семьи, в этой, с позволения сказать, квартире жили еще две точно в таких же конурах Все это были беженцы — из подмосковных деревень, середняки, которых по произволу властей могли раскулачить. Семья моей Тани состояла из пяти человек: отец-шофер, мать-учительница младших классов, две взрослых дочери — старшая на выданье за балтийца-моряка, Таня — ученица средней школы, только в 7 класс переехавшая из своего сельского рая на околицу Москвы, в лихоборскую дерьмовщину. Родители спали на одной однорядной кровати, старшая, корпулентная сестра на столе (для раскладушки не было места), Таня — на диване, куда складывался, за неимением шкафа и буфета, весь домашний скраб, братишке стелили матрас и простыни с подушкой на полу. Как в этих условиях Таня могла заниматься, объясняется тем, что она повелевала семье замолчать, когда готовила уроки, а для своих тетрадей и учебников выкраивала край стола. Всегда скромно одетая, чаще всего в темно-синем габардиновом платье с белым воротничком, всегда чистая, аккуратная, всегда готовая отвечать на задания, ни у кого не списывая, не ожидая подсказки (что было среди учеников повально распространено), она училась отлично. С тех пор, а может быть, и раньше ее правилом стало „опираться на собственный хвост“. С этим правилом она прожила всю свою жизнь до последнего дня. „Не надо мне помогать, я все это лучше сделаю сама“».

Так и приходилось ей делать всю жизнь. Но что меня поражало и до сих пор поражает, что ни сестра, ни брат дальше учиться не хотели. Мама училась на кафедре генетики. Вспоминая мамину родню, удивляюсь, как в пределах одной семьи, от одних родителей, произошли такие разные дети. Но главное, почему вдруг при прочих равных условиях только у мамы возникло желание стать ученым, получить высшее образование. Как родилось такое целеустремленное движение деревенской, по сути, девочки? Конечно, баба Настя — учительница и читательница толстых книг, дед Антон — садовод по призванию, но и брат, и сестра имели тех же родителей. Тут без генетики и впрямь не разберешься.

Дядя Володя окончил семилетку, когда бабушка Настя его корила, что, мол, Таня учится, а Лена — девушка, у нее жених хороший, а парню нужно образование. Дед молча кивал головой. Но все впустую. Дождавшись восемнадцати лет, дядя Володя ушел в армию, попал на Курильские острова, но там не потерялся, сошелся с дочерью поварихи, сделал ей ребенка, женился. И жил неплохо. В середине пятидесятых вернулся в Москву с женой и дочкой. Правда, месяца через два он с курильской женщиной разошелся и отправил ее назад на Курилы. Бабушка Настя рассказывала, что Володька всегда был находчивый. Еще подростком лет шестнадцати они шли вечером домой, а Лихоборы — не место для вечерних прогулок. Их окружила шпана, но Володька умел *по-ихнему* разговаривать, отболтался, и его отпустили. А приятеля зарезали.

Еще две детали из его московской жизни, до похорон отца. Он нашел женщину с квартирой, завуча средней школы, по имени Алла Михайловна. Крупная, выше дяди на голову, очевидно истосковавшаяся без мужчины, она, как могла, заботилась о нем. Никто из родственников ее не признал, хотя она нашла ему работу завхозом в своей

школе. Как-то я принес ему от мамы какие-то бумаги. Он вышел открыть дверь, прикрываясь полотенцем, улегуся снова нагишом на кровать и принялся листать бумаги. Под кроватью валялись использованные презервативы. «А девушка у тебя есть?» — спросил он, закончив перебор бумаг. Я смутился, мне было пятнадцать лет. И воспитан я был так, что о делах сердечных молчал. Тем более что дядя хотел знать, трахаться я или нет.

Разбирая после смерти родителей их бумаги, я наткнулся на стопку маминых писем, засунутых в старый, уже желтый конверт. Письма были удивительные, будто новая Элоиза писала своему Абельяру, профессорскому сыну, я их приведу, но по очереди. Вот мамино воспоминание:

После посещений твоих родителей целая полоса сомнений в своем уме, развитии. Я ведь деревенская до семнадцати лет. Что о моем детстве? Росла в деревне. Сад. Яблони. Яблони. Любила лазить по яблоням за еще зелеными и потом зрелыми яблоками.

За это часто ругал папа, т. к., лазя по яблоням, обламывала маленькие побеги. Вишни, сливы, смородина! Хотела бы я сейчас побывать в таком же саду!

*Маленькое отступление от маминого письма. Сам дед, пересказывая эпизод с маминым падением с яблони, добавлял: «Она ветку сломала. Иду, смотрю — ревет и пытается слюнями ветку назад к стволу приклеить. Я посмеялся, спрашиваю: «Что, отшибла доньшко?» Она увидела, что я не сержусь, заулыбалась, слезы высохли.*

Весна! Ручьи, проталины, первая травка, цветение сада!

Осенью сбор яблок. Летом сушка сена, лес, грибы, ягоды.

Осенью любила лазить по рябинам за охваченной первыми морозами рябиной. В саду забираться на самую верхушку яблони за чудом уцелевшими яблоками. Зимой учеба у мамы и катание на салазках и ледянках.

Помню, однажды, чуть не уехала куда-то, прицепившись к каким-то проезжавшим саням, а отцепиться никак не могла.

Помню, еще во 2-м классе прислал мне один мальчишка Петя Ипатов письмо, в котором объяснялся в любви. Лена меня потом дразнила этим до слез.

Когда была еще совсем маленькой, научилась, мамины старшие ученики играли со мной, называли «золотой девочкой». Я забиралась с ними в класс и таскала мел. Спрячусь за доску и там грызу его.

Зимой около школы (она была на окраине деревни) строили крепости, лепили снежных баб.

Весной в пруду около школы ловили лягушечью икру.

Лежали в нем, купались и рвали кувшинки.

Или как хорошо ехать зимой в лесу на санях! Какая прелесть ехать по дороге, ограниченной заснеженным лесом. Мама ездила на какие-нибудь конференции, забирала меня с собой. Закутает в тулуп, сама правит лошадьми. Ох уж эти запряжки! Сколько с ними было курьезных случаев. То кольцо соскочит, то повозка ломается, то лошадь распряжется. Лошадь у нас была серая. По кличке Ласик. А корова Новинка — белая, хорошая. Но очень своенравная. Интересно было за ней ухаживать, вернее, наблюдать, когда она была еще теленочком.

Тебе все это незнакомо, городской житель.

Я хотела бы, чтобы наши дети уезжали на лето в деревню. Но такой деревни, какая была у меня, у них не будет. Мы же жили там все время.

Деревня называлась Покоево, находилась в Истринском районе Московской области, купеческом районе центра России. Года три мы ездили туда на лето, последний раз, когда мне было тринадцать лет, а Сашке двенадцать. Младшего, Антошку-Тошку, тетя Лена отправляла в пионерлагерь. В деревенском доме, поплоше, чем был у деда (как считала мама), жила его сестра Пелагея, тетя Поля. Высокая, костистая, носившая все

лето один и тот же мужской пиджак, она редко улыбалась, смеялась как-то очень резко. Из двоих сыновей старший ушел в армию и в деревню не вернулся. Сестра-погодок была красавица (рассказывала мама), тетя Лена добавляло грубо: «Завела себе любовника, забеременела, так любовник, местный мужик, ее косою в живот ударил, убил и ее, и ребенка». Второй сын Костя был нетверд разумом, и тетя Поля нашла ему молодку Олю, правил, видать, не очень твердых, она родила двойню, мальчишек, кормила их не вставая из постели. И как-то ночью одного из младенцев «заспала» (первый раз я услышал это слово), во сне придавила своим жарким телом, младенец и задохнулся. «Нам теперь легче будет», — оправдывал Костя жену Ольгу.

Деревенская сексуальность, как теперь понимаю, вполне стоила городской. Еще про деда Антона бабушка Настя рассказывала историю. Только они поженились, дед с Первой мировой вернулся, был ранен, вернулся с Георгиевским крестом (который потом бабушка прятала), завидный жених, и выбрал лучшую из невест, сельскую учительницу Настеньку. После свадьбы свекор выделил молодым верх избы, а на третью ночь под утро поставил лестницу и полез к ним, желая попробовать молодуху. Но дед все же бывший солдат, встал над лестницей с топором в руках и сказал: «Батя, еще шаг, я тебе голову топором развалю!» Попыхтев, батя полез вниз со словами: «Ах ты, б... сын, все равно по-моему будет». Тогда-то дед и поставил свой собственный дом.

На фотографии дед Антон с отцом, который словно появился прямо из купеческих персонажей Островского, рядом младший брат, модник деревенский, а младшую сестру Пелагею, видимо, сочли недостойной для фотографирования. А может, фотограф за каждую личность брал отдельную плату? Прадед был богатым, держал извоз. По деревенским понятиям очень богат. И чувствуется по фото, что он понимает себя как хозяина всему. Он показывал сыновьям накопленные им бумажные деньги, которые тогда обеспечивались золотом. Были там десятки тысяч. Сыновья просили доли, чтобы каждому по одной четвертой, а сестру Пелагею они берут на себя. Дед Антон был старший, на германской был ранен, вернулся с солдатским Георгием, и прадед его немного уважал. Но и ему он жестко ответил: «Умру, все ваше будет, а не жидовская одна четвертая. Пока тебе и Сереге могу дать по екатериненке, то есть по сотенной, а Пелагее червонец — красненькую».

Сыновья примолкли. Рассказывая эту историю, дед гладил по волосам любимую дочку Таню, мою мать, и говорил: «Эх, были бы вы с Леной богатыми невестами, если бы батя не оказался таким сквалыгой». А бабушка Настя, смеялась: «Хитрец оказался отец Антона. Он в начале семнадцатого помер, дети все перерыли, ничего не нашли, в начале восемнадцатого заезжие мужики прослышали, что Бубашкины из богатеев, брата Сергея убили, избу его сожгли, потом пришли к нам, но нас никого дома не было, все перерыли, ничего не нашли и избу нашу тоже спалили. Дед начал избу отца перекладывать и в щелях между бревен нашел забытые, завернутые в газетки бумажные купюры». В детстве я играл в эти бумажные деньги. Было много красненьких — десятирублевков, штук шесть екатеринок — сторублевков, одна купюра в десять тысяч, две по пять. До революции — это были очень большие деньги, дойная корова стоила примерно полтора рубля. Уже позже, когда я подросток, а бабушка пыталась рассовать свои мелкие драгоценности, она их все тайком отдавала маме.

Дед продолжал держать извоз, но уже понимал, что время изменилось. Редкая способность — чувствовать движение времени, его перемены. У деда эта способность была очень развита.

Но, продолжая тему деревенского секса, должен рассказать одну стыдную историю. Мы гуляли с Сашкой по деревне, вдруг к нам подплыла шайка парнишек лет тринадцати-четырнадцати. Мы стояли недалеко от дома тети Поли. И все же старший

из деревенских спросил: «Кто такие? Городские?» Мелкая шестерка ответил: «Они к тете Поле. Но московские». Чубатый вожак, старший, примерно моей комплекции, сказал: «К тетке Поле? Все рано московские, надо бы их отоварить». И тут неожиданно в толпу мальчишек вошла мама. Губы были в ниточку (признак ярости). Она уже пережила войну, рытье окопов, университет, умирание от сепсиса старшего сына, то есть мое умирание, отчаянную борьбу за жизнь младенца, разгром генетики, когда три ее профессора, затравленные народным академиком Лысенко, покончили с собой, а она ушла из научных работников в чернорабочие — и ничего не боялась. Но пражеж понимала, заступаться не стала, предложила схватиться один на один — жожака со мной, а второго крупного с Сашкой. И тут сдрейфили деревенские: «Да они же к тете Поле приехали, значит, свои. Приходите вечером на поле, в футбол погоняем. А сейчас можем и в веснушки, вон только коров через деревню прогнали». Коровы шли, оставляя за собой лепешки коровьего говна. Надо было подбежать и ударить пяткой так, чтобы брызги от этой лепешки полетели в физиономию противнику, который отвечал тем же. От веснушек мы отказались.

Мама ушла. А оказывается, эту сцену наблюдала молодая жена слабоумного Кости. И в ней разыгрался аппетит. Она помахала нам, мол, подите сюда. Мы подошли, чувствуя, что нас влекут в неизведанное. Ольга зავзвала нас с Сашкой в сарай на сено. «Зовите меня Оля, по-родственному», — сказала она. И почти сразу завалила нас в сухую, душистую, недавно скошенную траву, задрала юбку и принялась совать туда наши руки. Мы ничего не понимали, не знали, что делать. Тогда Оля, расстегнув наши брючки, ухватила наши молодые уды, но мы так перепугались, что никакой эрекции не почувствовали. Но появилась теть Поля, видевшая, куда невестка отвела внуков ее брата: «Ах ты, про..., — заорала она. — Пошла вон, а то сама пришибу тебя, раз Костька не может». Больше мы в Покоево до смерти деда не ездили.

У нас в Лихоборах были подружки, у меня Аллочка, у Сашки Тома — девочки из дома напротив.

Отношения более чем целомудренные, даже не целовались, тем более не лапали своих подружек. Такое даже в голову не приходило. Как-то в школе одноклассник Толик Пэсеров, с черными жесткими волосами, зачесанными вперед, проходя мимо симпатичной мне девочки, сунул ей руку под юбку, подержал там, так что она согнулась, но ничего не сказала, даже не ойкнула. Толик спокойно вышел из класса. Он любил спросить на улице девушку в вязаной шапочке: «У тебя волосы какого цвета?» Та простодушно отвечала: «Каштановые». Он ухмылялся и продолжал допрос: «А на голове?» Девушка краснела и убегала. Так и с Клавой Мотылевой, которой он сунул под юбку руку. Сделал это на спор, а у подоконника сказал склонившимся к нему ребятам: «Ну вот и потрогал я Клаву за ...». Я был в шоке. Мне все равно казалось, что он врет, какой-то дурной розыгрыш. Но Толик, увидя мое ошарашенное лицо, ткнул кулаком в плечо: «Ты что, они сами это хотят». Лишь много позже я убедился в правоте его слов. Мне мама без конца твердила, словно я был девочкой: «Никому не давай поцелуя без любви». Так я себя и вел.

Почему-то мы говорили, когда ехали в Лихоборы, что едем к бабушке Насте, а не дедушке Антону. Все же она делала погоду в доме. А дед занимался своим палисадником, слабым подобием его огромного сада, который ему пришлось в 1929 году оставить и переехать поближе к Москве. Вначале они жили в подмосковном Тропареве, потом, когда дед стал шофером при реввоенсовете, им дали комнату в этой страшной коммуналке в Лихоборах. В палисаднике были столик, маленький стул, лично дедовский, и скамейка, на которую он усаживал гостей.

Палисадник был любимым местом деда. Прямо в палисадник выходило окно их комнаты. Маленький прямоугольник земли, длиной в десять метров, был обихожен, как

ни один сад. Росли две яблони и две груши, на которых были разнообразные подвои, кусты крыжовника и смородины. Он умудрился поставить там и маленький навес от дождя. Вдоль заборчика он пустил малину. Конечно, мама стала биологом, генетиком, селекционером следом за своим отцом. Но не только, была еще профессорская семья, семья отца, и свекор — профессор геологии и минералогии. Биофак она выбрала сама, но кафедру генетики ей посоветовал папин отец. Как написано в «Таниаде», «Посоветовал Тане предпочесть кафедру генетики мой отец, ибо, как геолог и минеролог, знал — отчасти и наблюдал — действие генетических законов в преобразовании горных пород и сложении разных по плодородию почв. Он давно уже склонялся к выводу, что законы генетики универсальны. Его другом в Академии был известный генетик Антон Романович Жебрак, не отрекшийся от генетики. Однако для генетики наступали черные дни. Лысенко готовился к своему одобренному Сталиным докладу на сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года. А пока подбивались организационные выводы, Таня закончила МГУ и получила звание младшего научного сотрудника». Но дед Моисей умер в 1946 году, тоже 67 лет, и дальше по научной дороге мама шла сама. Надо сказать, что Жебрак жил в соседнем подъезде. Мы здоровались при встрече, а с его сыном Борисом я немножко приятельствовал. Очень часто я видел, как мама помогала деду Антону подвязывать подвой. Практическая школа у нее была настоящая. «Без садика своего я помру», — говорил дед Антон. Когда генетику разгромили, а именно в августе всех представителей биологически «вредной буржуазной науки» генетиков разогнали кого куда. Папа писал: «Сокращали с работы крупных, с мировым опытом, ученых по причине „научной несостоятельности“. Закрывали Институты, Кафедры, Научные лаборатории. Таня ни разу не пожалела, что выбрала эту гонимую кафедру. Среди ученых разочарование было сокрушительным: профессор Собинин кончил жизнь самоубийством, проф. Голубев умер от разрыва сердца». У мамы было два профессора, которые ее вели, не отказавшиеся от генетики, — Навашин и Раппапорт. А потом, спустя лет тридцать, вывела *земклунику*, и лучший ее сорт назвала в честь Раппапорта — Рапорт. Мама была верным человеком. После погрома ей предложили отказаться от них и перейти к правоверному лысенковцу. Мама сжала в ниточку губы, как всегда делала, сердясь, и ответила, что учителей не меняют. И ее сразу перевели в лаборантки — мыть пробирки. Наступали плохие годы. Душу мама отводила в палисаднике отца, туда же привозила и меня, а тетя Лена — сына Сашку.

Внуков бабушка Настя и дед Антон усаживали на скамейку, и мы на довольно-таки грязной улице дышали садом, яблоками и грушами.

Мы были в матросках, потому что моряк дядя Витя, муж тети Лены и отец Сашки, был нашим кумиром. Мама хоть и была младшей, но характер был такой, что и брат, и сестра ее слушались. Ее старшая сестра Лена завела роман с балтийским моряком, потом дважды выходила за него замуж. Я, когда это услышал, не понял, почему дважды. А просто: у офицеров было два важных документа. По паспорту он женился на тете Лене, потом командировка во Владивосток, где застрял на несколько месяцев. У тетки заскребло на сердце, она долго добиралась туда, добралась через два месяца, накануне его новой свадьбы — по военному билету, там штампа загса не было. При этом человек он был храбрый, подводник, которым, когда в лодку попала торпеда и она стала тонуть, по приказу капитана выстрелили из родного торпедного аппарата. Выстрелили им и еще двумя тонкими ребятами, трое суток их носило по Северному морю, потом их случайно увидели с советского катера и подобрали. Получил орден. Они с тетей Леной еще раз поженились, и год спустя после меня сына Сашку родила тетя Лена, старшая мамина сестра.

Но его любвеобильность стала толчком к переменам в жизни бабушки и дедушки, да и в жизни тети Лены и дяди Вити. Братья (Сашка, Тошка) пережили это спокойно. А вот организм деда получил сотрясение. Как странно вяжутся узлы жизни.

Дело в том, что мой дядя, муж тети Лены контр-адмирал Виктор Петров жил с женой и двумя сыновьями в одной комнате двухкомнатной квартиры. Другую комнату занимал его сослуживец грузин Гургенидзе с молодой женой, русской, нерожалой, как говорят в народе, и, судя по рассказам, очень податливой, как в песне про неверную жену моряка: «Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты знала, сколько губ, трижды развращенная жена». Блондинка, гибкая, пухлогубая, широкобедрая, ходившая в коротких легких халатиках, в которых ее формы смотрелись вызывающе. Даже я как-то увидел, как дядя Витя, глядя на соседку Маргариту, облизнул сухие губы. Случилось то, что и должно было случиться. Когда муж ее был на дежурстве, жена соседа Маргарита пригласила дядю Витю в комнату чаю попить. Дети были в школе, тетя Лена уехала навестить родителей — раздолье! Так и случился их роман. Женщина оказалась страстной, да и дядя Витя уже утомился от своей располневшей жены, тети Лены со слоновьими ногами.

Романом это назвать трудно, но случки происходили, по меньшей мере, пару раз в неделю. При том, что коридорчик был узкий и небольшой, она, проходя мимо дяди Вити, старалась молодым своим телом прикоснуться к нему. Когда же она встречала взгляд тети Лены, то смотрела поверх ее головы, словно не видела, будто эта особа не стоила внимания. Мама, как-то посмотрев на переталкивания дяди Вити с соседкой, сказала сестре: «Ты бы эту кошку за космы оттаскала». Но тете Лене, тяжелой от толщины, мир был важнее. А может, боялась, что муженек махнет резко на сторону. А тут вроде под присмотром. Но в конце концов их застучал сосед, капитан Гургенидзе. Дядя Витя, боевой офицер, выхватил кортик, который он всегда держал рядом с собой. «Нет, — выкрикнул знойный южанин, — перед парткомом ответишь!» Это по тем временам было пострашнее кортика. Вариантов не было, оставалось отвечать перед партией.

На дядю Витю было наложено взыскание, с него взяли слово офицера, что больше с соседкой он не будет совокупляться. И тут для обеих семей началась мука мученическая. Маргарита не давала слово офицера, а потому поджидала дядю Витю в коридоре, куда бы он ни шел. Все впали в легкое помешательство. Младший сын Тошка с молотком в руках провожал отца в туалет и в ванную. При виде Маргариты грозил ей своим оружием. Тетя Лена была в растерянности, но контр-адмирала дядю Витю снова вызвало начальство и предложило думать о варианте разъезда. У тебя, сказал начальник, теща и теща имеют комнату в коммуналке. Две комнаты в разных квартирах вполне можно обменять на трехкомнатную — небольшую, но все же три комнаты! И тетя Лена энергично взялась за это дело, спасая семью. И осенью 1964 года она получила ордер на маленькую трехкомнатную квартиру от военного ведомства на улице Маршала Жукова.

Тем временем баба Маня, мать бабушки Насти, прослышав про эту историю, переменила свое решение, кому отдать семейную Библию. Она была дочерью сельского священника, так всю жизнь и прожила как дочь священника. Так что и бабушка Настя была верующей и детей крестила. И крещеная моя мама, к тому же с высшим образованием, вошедшая в профессорскую порядочную семью, стала прямой наследницей религиозных книг. Но как полагала бабушка Маня, в доме хозяин муж, а Карл к тому же философ, ему Библия наверняка понадобится. Отец приехал, но с ним поехала и бабушка Мина, член партии с 1903 года, его мать и его партийная совесть.

Библию бабушка Мина папе не разрешила даже в руки взять, полистала пять минут сама и вернула бабе Мане, сказав: «Спасибо вам, моя милая! Но Карлу это не надо. Он член партии, отвечать-то ему придется. Если кто узнает, то его могут и исключить из рядов. Так что забирайте книгу туда, где она лежала». И добавила тихо папе: «Все-таки эти Лихоборы, как видишь, дикое место». Баба Маня растерянно взяла

Библию и принялась засовывать в свой холщовый мешочек, где лежал еще толстый том — старинная Псалтырь. Дед Антон, отец, бабушка Мина, мама и я смотрели на ее неловкие движения, которыми она запихивала Библию, вынуд для удобства Псалтырь. Баба Маня пробормотала: «Это я Тане обещала». Мама, оттолкнув отца, шагнула к своей бабушке. «Баба Маня, мне и давайте, мой Псалтырь я никому не отдам». Бабушка Настя тем временем зажгла лампадку перед иконкой Казанской Божьей Матери, принялась креститься, чтобы мои родители не поссорились. Бабушка Мина пожала плечами, мол, ваше дело. А мама спрятала Псалтырь в свою хозяйственную сумку. Она была уверена, что если бабушка Настя крестится перед иконкой, то все будет в порядке. Эта уверенность сложилась со времен войны, когда немец почти взял Москву.

Англичане поднимали над Лондоном аэростаты на высоту в две тысячи метров. Советские аэростаты поднимались в два раза выше. Но Москву немцы обложили, Москва задыхалась, в бой бросали ополчение, то есть стариков и необученных вчерашних десятиклассников. Даже почти слепых, так погиб одноклассник отца Володя Рындин, который сослепу попал под собственный танк. Володя был дядя друга моего детства и юности Саши Косицына. Наступило 16 октября 1941 года. В Челябинске, как рассказывал отец, все верили (знали будто), что в Москву враг никогда не войдет, его не пропустят. И правда, стояли насмерть, бросались со связками гранат под танки. Брат отца, дядя Лева, лейтенант морской пехоты, закрыл своим телом взвод, не зная о Матросове. Выхода не было. Погибли трое его солдат, и тогда он пошел сам. Об этом я еще расскажу. Девятнадцатилетняя мама шила солдатское белье — кальсоны и нижние рубашки, ходила с другими женщинами на рытье окопов и противотанковых рвов.

Но при этом, если не считать работы, особенно в начале октября, женщины притаились, кругом стояли надолбы от танков и ежи, но немецкие мотоциклисты уже въезжали небольшими партиями в город, были в Сокольниках, кто-то видел шального немца, который якобы промчался на своем мотоцикле по Лихоборам. Но скорее всего, это были слухи.

Но как рассказывают историки, 16 октября Гитлеру послали телефонограмму. «Город практически взят, можем вводить войска». А фюрер ответил: «Завтра маршевым шагом с развернутыми знаменами». Кстати, знамена у фашистов тоже были красные, только вместо серпа и молота — свастика. Красный флаг — флаг войны. Я воображаю, как в маленьком домике, в маленькой комнатке затаилась мамина семья: две сестры, младший брат и дед с бабушкой. Пятнадцатилетнего сына Володьку засунули в подпол, таких подростков, по слухам, немцы тут же расстреливали. Короче, с жизнью почти простились. Никто не спал. Бабушка стояла на коленях перед иконкой Казанской Божьей Матери, ее любимой иконой, и нескончаемо жгла лампадку. И вдруг тетя Лена услышала маршевый шаг и завизжала: «Вошли!» Она решила, что вошли немцы. Мама тихо, как она умела, в сложные свои моменты, подошла к окну. И шепнула: «Мамочка, ты вымолила». И выскочила на улицу. Было холодно. По широкой дороге шли не ободранные ополченцы, а одетые в полушубки и шапки-ушанки, с автоматами рослые ребята-сибиряки. Следом выскочила сестра Лена, они обнялись и принялись рыдать от счастья. «Мы тогда поняли, что Москву не сдадут», — рассказывала мама.

Они выпустили младшего брата из подпола. И сестрички пошли снова шить кальсоны. Но у мамы подоспели документы, и выяснилось, что ее перевели на второй курс биофака, а универ из Москвы не вывезли, хотя об этом поговаривали. До сих пор не могу понять, как она, когда уже началась война, могла ходить в универ и сдавать экзамены! Верила в себя, верила в победу, наверно, хотела быть на уровне любимого — профессорского сына — Карла. Поступила в 1940-м, но не бросила учиться, несмотря на войну. Свои письма она, естественно, начинала с пушкинского подарка русским де-

вушкам — письма Татьяны, ведь и сама Татьяна. Вот начало ее письма 1940 года: «Здравствуй, Карл! Не начать ли словами Татьяны из „Евг. Онегина“: „Я вам пишу. Чего же боле?“ и т. д.? Почему о тебе ни слуху, ни духу?»

Осталось ли у мамы это ощущение влюбленной девушки? Насколько я видел, такого не было. К 1965 году осталось чувство верной жены и матери. Мама, конечно, «опиралась на собственный хвост», хотела образования, но уровень притязаний она получила все же в профессорской семье. В Лихоборах — даже как о мечте — о высшем образовании никто не думал, это было ее решение, но вход в круг биологической элиты она позднее получила от свекра. Правда, элита, как и полагалось настоящей, оказалась гонимой.

А Лихоборы? О его населении говорит название — Лихой Бор. Бора уже не было, лес давно вырубил, но лихие люди были основным населением этого микрорайона. Девочек Бубашкиных, Лену и Таню, шпана не трогала, зная, что дед Антон крут на расправу и дубинка у него всегда под рукой. Но драки с поножовщиной случались практически каждый вечер. Потом появились внуки, но и с ними был порядок. В одной из трех комнат на первом этаже, где жили бабушка и дед, жил Витек, местный пахан, с одной ходкой, он взял внуков деда Антона под защиту. И мы спокойно ходили по местным окрестностям, провожали бабушку Настю на колонку за водой. Колонка стояла одним домом ниже, путь для старухи с коромыслом, на котором висело два ведра, был неблизким и нелегким. Но бабушка привыкла, водопровода в доме никогда не было.

Но все же для деда был палисадник. Дед не участвовал в переезде. Когда пришел грузовик, за рулем сидел матросик, которого дядя Витя в приказном порядке посадил за руль. Второй матросик на легковушке увез бабушку Настю на новую квартиру. Она должна была там встречать грузовик, в который дядя Витя и дядя Володя запикивали обстановку комнаты: сундук, шкаф, ширму, стол и стулья, дед ушел в свой палисадник и попрощался с посаженными им кустами и деревьями, гладил их. Понимал, что делает это для дочки. Плакать он не плакал, но, как рассказывала мама, лицо его сразу сморщилось, углы губ опустились, а тонкие, как у мамы, губы были плотно сжаты. Словно дерево, вырванное с корнем. Ведь палисадник он начал обихаживать с 1929 года. До переезда прошло тридцать пять лет. Сосед Витек увидел, как дед прощается с кустами и деревьями, и неожиданно вышел на улицу. Он подгрел к деду Антону, похлопал его по плечу и сказал своим хриплым блатным голосом классическое русское: «Ничего дядя Антон, образуется». И принялся помогать ставить вещи в грузовик.

Деда посадили в кабину, и грузовик покатило. Петровым стало сразу лучше. Вместо одной они получили две комнаты, в одной родители, в другой сыновья, прихожая и небольшой холл, коридор, кухня — это все были их владения. В третьей дед и бабушка. Подоконники были крошечные, так что и горшка цветов не поставишь. Дед тосковал и все чаще доставал свой нитроглицерин. Как-то и после нитроглицерина не отпустило. Бабушка пошла вызывать «скорую», 03. Долго не подходили, потом спросили: «А сколько лет больному? Шестьдесят семь? Давно его прихватило? Да уже, наверно, и ехать нет смысла». Телефон стоял в прихожей, бабушка села на табуретку и заплакала в голос.

Плач услышала тетя Лена, толкнула мужа в бок. Командирский голос подействовал. «Сейчас выезжаем», — сказал врач. Но, как они и ожидали, было уже поздно. Машина «скорой» приехала минут через сорок, но, как врачи и ожидали, было уже поздно. Врач констатировал смерть. А далее все завертелось. Примчалась мама, приехал, отдуваясь после похмелья, дядя Володя, привез бутылку водки. С дядей Витей они выпили, пока мама звонила в бюро похоронных услуг, а тетя Лена с соседкой обмывали тело деда. Когда приехала женщина-врач из этого бюро, подтвердила смерть и вы-

писала квитанцию, разрешение на похороны, добавив по просьбе дяди, что место захоронения оставлено на усмотрение родственников. Дядя Володя аккуратно сложил разрешение и спрятал в боковой карман. Хоронить решили в Покоево, где уже были похоронены отец и брат деда.

Стоял декабрь, уже 25-е. Дед лежал в гробу в своем кителе, черных свежоотглаженных брюках, которые никогда гладить не разрешал, в белой рубашке, бабушка повесила ему на грудь маленький крестильный крестик, дядя Витя не возражал, хотя бабушка его опасалась. Но последний год контр-адмирал Виктор Петров стал ходить в церковь на службы, разумеется не ставя в известность свое начальство. Приехал и папа, выпивать отказался, но гроб нес вместе с другими мужчинами.

Похоронный автобус стоял у подъезда. Гроб с телом деда родственники снесли вниз. Мужчины внесли гроб и поставили его аккуратно на помост посередине салона. Вдоль стены стояли лавочки для сопровождавших, а также несколько скамеек со спинками для пожилых родственников. Входившие и заглядывавшие в автобус давали цветы бабушке Насте, а та укладывала их вдоль мертвого тела мужа. Было минус двадцать пять. Дядя Витя остался дома, сославшись на дела службы. На самом деле бабушка Настя винила его в смерти деда и не хотела видеть на похоронах. Набилось в автобус не так много: бабушка Настя, мама, папа, тетя Лена, дядя Володя, Сашка, соседка тетя Нюра, приехавшая из Лихобор, и я. Дорога вначале шла по шоссе, но и когда выехали на проселочную дорогу, ход автобуса не изменился, ехали ровно и гладко: вечная история — в России дороги чинит всегда Дед Мороз.

Подъехали к дому тети Поли, забрали ее с собой. В маленькой деревенской церкви быстро отпели деда. Кладбище находилось на пригорке.

За пригорком стоял густой ельничек, метров двести от кладбища. Там уже ждали с ломami и лопатами местные парни, с которыми мы когда-то чуть не подрались. Тетя Поля попросила их (а может, и наняла), чтобы они вырыли могилу. Ломы были нужны, чтобы пробиться сквозь мерзлую землю. Примерно через час гроб на веревках опустили в яму. На крышку сбросили цветы, потом каждый из родственников бросил на гроб по куску земли. А деревенские парни мигом засыпали землей могилу, создали холмик, воткнули деревянный крест с табличкой. Вокруг креста положили оставшиеся цветы. Мама несколько раз поклонилась кресту, поцеловала табличку. Шофер завел мотор, дядя Володя попросил его не торопиться, подошел к деревенским: «Ребята, топора у вас с собой по случаю нет?» Те пожали плечами: «Вообще-то, есть. Зачем тебе?» Дядька улыбнулся своей обаятельной улыбкой, которая одинаково действовала не только на женщин, но и на мужчин. «Да все просто, парни. На носу у нас Новый год. А какой Новый год без елки? В Москве елку не укупить, а тут растут — руби, сколько хочешь! Я бы с вами пошел, но снегу навалило — в ботинках не пройдешь. А вы все же в валенках». Наши вчерашние враги сильно повзрослели, готовы были помочь, особенно когда отдавало запретным. Проваливаясь в снегу, парни побрели к ельнику. Минут через двадцать или тридцать пушистая красавица уже лежала на том месте, где недавно стоял гроб.

Елку, обмотав шпагатом, оставили в сенях. Потом сидели за большим столом в избе, где в углу висели две иконы — святого Георгия и святого Власия. На столе было скудно: три селедочки с нарезанной селедкой, покрытой кружочками репчатого лука, на большой тарелке куски вареного мяса, две миски соленых огурцов, две тарелки кружочков «Любительской» колбасы, большой квадратный серый кирпич хлеба, который тетя Поля, прижав к груди, резала крупными ломтями. Стояла посередине стола двухлитровая банка самогона и три или четыре бутылки водки. Глупо улыбаясь, со стаканом водки в руке сидел Костя, полудурок, сын тети Поли, рядом с ним его жена Ольга,

лицо которой было расцвечено синяками разной величины и давности, сели за стол, кроме родственников, и два парня, что копали могилу. «Давайте Антона помянем», — встала первой тетя Поля со стаканом самогона. Сын-полудурок потянулся к ней чокаяться. Но та отвела руку в сторону: «Лучше встань и отстань от меня. На поминках не чокаются». Все молча выпили. Но потом встала мама: «Тетя Поля, обожди, я скажу. Отец делал все для своей семьи, переехал из большого дома в Покоево в коммуналку в Лихоборах, дом здесь сожгли беженцы, тетя Поля знает, дом без хозяина плохо сохраняется. А он шоферил, лишь бы семью прокормить. А я еще отцу благодарна, что он поддержал меня, когда я в университет на биофак поступила. И ни разу не попрернул, что я учусь вместо того, чтобы деньги зарабатывать. Да и биологию я выбрала, на папу глядя. И внукам помогал, сколько он моему старшему скворечников смастерил! Спасибо тебе, папа». Тетя Лена, дождавшись окончания маминых слов, вылила в себя стакан самогона, заела огурцом и нацепила на вилку кусок мяса. Мама одним глотком выпила стопарик водки, хотя вообще не пила, порозовела, опустила на стул, лицо закрыла руками, чтобы не видели ее слез. Папа подошел, обнял маму за плечи, а дядя Володя хмыкнул и сказал: «Ну, Таня, на тебе наш род отдыхает. И отец любил выпить, вон и Лена не дура — стаканчик-другой пропустить, да и я умею и люблю». И тут разговор перешел на водочную тему. Костя-полудурок пил, пила и его распутная женушка, время от времени полузазывно взглядывая на меня. Но тетя Поля не обращала сейчас на нее внимания, а от выпивки не отставала. Соседка Петровых пила тоже, но, похоже, контролировала себя. Деревенские парни подошли ко мне со стаканами: «Не побрезгуешь с нами выпить? Ты ведь городской. Драться умеешь, а пить?..» Чтобы не оплошать, я выпил одну за другой две рюмки водки. «А самогон не уважешь?» — спросил тот, что постарше. Пришлось выпить полстакана самогона. Меня спас дядя Володя, уже изрядно раскрасневшийся: «Баста пить, вот Таня сказала, я тоже хочу сказать об отце». Он встал, оперся обеими руками о стол: «Вот что я скажу. Скажу, что отец был настоящий мужик, настоящий солдат. Об этом мало кто знает, но он в первую германскую воевал, получил солдатский Георгиевский крест за штыковую атаку. А солдатский Георгий — это награда, что именно за храбрость давалась. За храбрость отца и выпьем. Жаль, мать не уберегла эту награду». Бабушка Настя, сидевшая все время молча, не пившая и не евшая, будто слезы стояли у нее в горле, тут подняла голову. «Ты не понимаешь, — сказала она вдруг жестко, — я его прятала, чтобы не посадили, теперь можно, он со мной. Но я еще не решила, кому его отдать». Она снова замолчала, глядя в одну точку, на тетю Лену и Сашку, как я вдруг заметил, она не глядела. А когда полупьяная тетя Лена подошла к ней поцеловаться, подставила щеку, а потом вытерла ее платком.

Наступил вечер. Тетя Поля вдруг встала и прямо сказала: «У себя я могу на ночь только Настю оставить. Остальные пойдут на электричку, самая удобная в двадцать один тридцать. Вот только с елкой племянник мне начудил. Могли бы пешком через лес до станции дойти. Но с елкой не допрешься. Разве Васю попрошу на своем „козлике“ ее туда добросить. А ты, Володька, пойдешь пешком со всеми. Скажи спасибо, что елку тебе довезут». И через час мы пошли пешком на станцию через лес.

Спотыкаясь и матерясь, тетя Лена и дядя Володя шли впереди. Мы плелись сзади. Вот наконец и станция. «Козлик» с Васей и елкой ждал рядом. Мама пошла и купила на всех билеты, понимая, что ни брат, ни сестра на это уже не способны. Дядя Володя пожал парню руку, втащил елку на платформу. Пошатываясь, он стоял у края, то ли держа елку, то ли держась за нее. Тетя Лена тоже ухватилась за елку, чтобы устоять на ногах. Сашка подпирал мать с другой стороны. Мама, папа и я стояли немного в стороне. Но когда подошла электричка, мы очутились в одном вагоне. Соседка Петровых села

в соседний вагон. Одно купе заняли тетя Лена, Сашка и дядя Володя, обтянутая шпагатом елка встала у окна. Мы обосновались в соседнем купе. Около часа ехали спокойно и молча, без происшествий.

Оставалось до Москвы станции три. И тут вошли два контролера и два милиционера. Мама сказала, что билеты на всех у нее. Контролеры отштамповали билеты, но милиционеры заинтересовались елкой. «Чья?» — спросили они. Дело в том, что вырубать елки без разрешения было тогда запрещено. Дядя Володя встрепенулся: «Моя. Но я вот с сестрами еду с похорон отца. Мы около гроба елку держали». Мент потянул елку к себе: «Доказать можешь?» Дядя Володя полез в боковой карман и достал справку от врача похоронного бюро, где стояли слова, что место захоронения гражданина Бубашкина А. Е. оставлено на усмотрение родственников. Я чувствовал, как напряглась мама. «Вот видите, — ткнул дядька пальцем в эту надпись. — А мы решили отца похоронить, где он родился, вот и сестра подтвердит», — он показал на тетю Лену. Мент посмотрел на пьяненькую тетю Лену, которая дремала на плече у сына Сашки. Ухмыльнулся, махнул рукой, сказал напарнику: «Ладно, пускай едут». И они вышли из вагона следом за контролерами.

Конечной станцией был Рижский вокзал.

Мы вышли раньше, чем дядя Володя и тетя Лена, но мама осталась на платформе, ожидая брата и сестру. Те вышли, дядя Володя тащил елку. Мама сказала, остановив брата: «Ну ты прохиндей, Володька!» Тот глупо улыбнулся: «Ты чего, Танька! Ты же мне сестра! То, что отец умер, нам повезло! Как иначе я бы елку провез!» В ответ мама развернулась и изо всей силы молча ударила брата ладонью по щеке. Взяла отца под руку, меня за руку, и мы пошли в метро.